
Хроники старого переплета
Рецепт зимнего солнцестояния
Детективный роман
Елена Копс

Елена Копс

Рецепт зимнего солнцестояния (Хроники старого переплета)

«Автор»
2026

Копс Е.

Рецепт зимнего солнцестояния (Хроники старого переплета) / Е. Копс — «Автор», 2026

Закрытый предновогодний фестиваль в старинной тверской усадьбе обещал реставратору Маше Верещагиной тихую работу в библиотеке. Но уже наутро в раритетном издании Молоховец 1861 года она находит свежевырванный лист с рецептом смертельной настойки и анонимную угрозу. В вечер зимнего солнцестояния снежный буран намертво отрезает усадьбу от внешнего мира, а прямо за праздничным столом умирает компаньон хозяйки ресторанной империи. Дороги заметены, помощи ждать неоткуда, и убийца заперт под одной крышей с гостями. Маше, ее обаятельной бабушке-актрисе и Илье Корсакову предстоит распутать клубок чужих тайн, пока старый ледник усадьбы не забрал новую жертву. Вторая книга серии «Хроники старого переплета». Продолжение следует.

© Копс Е., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 12
Глава 3 20
Конец ознакомительного фрагмента. 23

Елена Копс
Рецепт зимнего солнцестояния (Хроники старого переплета)

Глава 1

Снег пошел в понедельник и с тех пор не прекращался ни на час. Шел он неторопливо, крупными мокрыми хлопьями, как будто где-то наверху кто-то взялся наконец перетряхнуть старую перину и делал это добросовестно, не пропуская ни одного угла. К четвергу Снегири окончательно оправдали свое название. Заборы ушли в сугробы по самую верхнюю перекладину, у калитки Верещагиных намело горку, на которой утром отпечаталась цепочка аккуратных круглых следов: это кот Фунтик выходил на разведку, провалился по уши, оскорбился и вернулся на веранду, больше в тот день на улицу не показываясь.

Маша сидела в мастерской и шила.

В мастерской было тепло, пахло клейстером, воском и сосновыми досками, которые Корсаков в ноябре привез на полки и которые до сих пор, если наклониться к ним поближе, отдавали смолой. Крыша над головой была новая, серо-зеленая, тихая. В углу на полу так и стоял оцинкованный таз, пустой и сухой. Маша его не убирала. Сначала потому, что было сказано «пусть стоит», а потом просто привыкла, и теперь таз казался ей чем-то вроде домашнего божка, которого поставили на всякий случай и которому иногда, проходя мимо, хочется сказать спасибо.

На столе перед ней лежала хроника Вороновых.

Ее привезли в последних числах ноября, как и обещали, в той самой белой бязи. Привез Антон, сам, на старенькой машине, и долго стоял в дверях мастерской, не решаясь войти, а потом все-таки вошел, сел на табуретку у пресса и просидел так часа два, глядя, как Маша раскладывает тетради. Говорили они мало. Перед уходом он сказал, что премьера спектакля «про шкаф» назначена на март и что одно кресло в первом ряду будет пустое. Маша не стала спрашивать, для кого.

Седьмую тетрадь она расшила еще в начале декабря. Ираида Павловна, как и обещала, нашла тряпичную бумагу, вержевую, старую, из тех самых, которых так и не коснулось перо Веры Зиминой, и теперь на месте вырезанного листа стоял новый, чистый, чуть светлее соседей. Маша решила его не тонировать. Пусть будет видно, что здесь была рана, а не делать вид, что ее не было. Оставалось прошить последние два прокола и поставить узел, и она сидела над этим узлом уже минут десять, держа иглу на весу и почему-то не решаясь.

– Маша! – закричала из дома бабушка. Голос прошел сквозь две двери, заснеженный сад и вагонку без всяких потерь, как будто бабушка стояла у нее за плечом. – Маша, где моя шляпная коробка?

Маша вздохнула, затянула узел. Обычный, кеттельный, через предыдущий стежок, с хвостиком, обрезанным наискось. Посмотрела на него, положила иглу в подушечку и пошла выяснять про коробку, потому что выяснять все равно придется, а чем раньше, тем меньше будет потом сказано про неблагодарных внуков.

На веранде было невозможно пройти. Посреди, прямо на домотканых дорожках, стояли три чемодана с открытыми крышками, как три пасти, и в каждый что-то было уложено, а сверху еще навалено, а рядом на полу ждало своей очереди. На спинках стульев висели платья. Маша насчитала четыре, причем одно, темно-синее, бархатное, с кружевным воротником, она помнила по фотографии семьдесят девятого года, на которой бабушка принимала цветы после

премьеры «Бесприданницы». На подоконнике лежала скалка, длинная, гладкая, потемневшая от времени и масла, завернутая в чистое полотенце, как ребенок.

Бабушка стояла посреди всего этого в жемчуге и в фартуке поверх шерстяной юбки и смотрела на чемоданы с видом полководца, у которого в последний момент перед сражением выяснилось, что половину кавалерии забыли подковать.

– Шляпная коробка на шкафу, – сказала Маша. – Ты сама ее туда поставила в среду, чтобы Фунтик не залез.

– Ах да. – Бабушка нисколько не смутилась. – Достань. Ты высокая.

– Ба. Мы едем на двенадцать дней в лес. В Тверскую область. Там сугробы. Зачем тебе шляпа?

– Затем, – сказала бабушка, – что тридцать первого будет бал. В приглашении написано: «новогодний ужин с костюмированным вечером». Ты читала приглашение?

– Читала.

– Значит, плохо читала. Костюмированный вечер, Машенька, это не там, где все сидят в свитерах с оленями. Это там, где женщина в шляпе. – Она подумала и добавила: – И с вуалью.

Маша полезла на табуретку за коробкой. Табуретка качнулась, но устояла. С этой табуретки за последние пятнадцать лет падали все Верещагины по очереди, кроме бабушки, которая на нее никогда не вставала, считая, что для этого существуют внуки.

Вся эта история с приглашением началась еще в октябре, только Маша узнала о ней на месяц позже, чем следовало. Кремовый конверт с золотым медведем в поварском колпаке пролежал под томиком Островского почти три недели. Бабушка достала его только в середине ноября, за воскресным обедом, после пирога, когда Корсаков уже уехал, а Марик спал на диване в гостиной, накрыв лицо журналом про коптеры. Достала, положила перед Машей и сказала: «Ты только не сердись». Маша, разумеется, сразу рассердилась, еще не дочитав.

Оказалось, что в сентябре бабушка, никому ничего не сказав, написала письмо на конкурс. Конкурс устраивал журнал, который выпускала ресторанная империя Софии Белозерской, и назывался он «Рецепт с историей». Нужно было прислать семейный рецепт и рассказать, откуда он взялся. Бабушка прислала пирог с антоновкой и корицей и рассказ о том, как в семидесятых годах пекла этот пирог на каждую премьеру и приносила в театр, к служебному входу, в старой коробке из-под шляпы, и как за кулисами его делили на тридцать кусков, и всем доставалось, даже пожарному Кузьмичу, на которого однажды упал задник от «Грозы». Писала она, по ее собственному признанию, три вечера, переписывала набело дважды и вклеила две фотографии.

Письмо победило. Победителю полагалось приглашение на двоих на закрытый предновогодний фестиваль «Рецепт зимнего солнцестояния» в загородной усадьбе Белозерской, с двадцатого декабря по первое января, с проживанием, мастер-классами, литературными вечерами и праздничными ужинами. К конверту прилагалось еще отдельное письмо, написанное от руки крупным решительным почерком с наклоном влево. Белозерская благодарила «дорогую Аглаю Петровну» за чудесный рассказ и прибавляла, что из письма узнала о внучке-реставраторе, а в усадьбе как раз имеется собрание старинных кулинарных книг, которое давно требует внимательного взгляда специалиста, и что она была бы счастлива, если бы Мария Андреевна согласилась его осмотреть. Разумеется, за отдельное вознаграждение.

– Ты написала про меня в конкурсном письме, – сказала тогда Маша. – Про пирог. На конкурс.

– Одну строчку, – сказала бабушка. – В самом конце. Что моя внучка реставрирует старые книги и что когда она была маленькая, она ела этот пирог руками прямо из формы, и ее за это никто не ругал. Это правда.

– Ба.

– Это была художественная деталь, – сказала бабушка с достоинством. – Без художественной детали письмо не победило бы.

Маша тогда долго сопротивлялась. Говорила, что не может бросить работу, что у нее хроника, что двенадцать дней это слишком долго, что она не любит чужих людей и чужие праздники, что Новый год надо встречать дома. Бабушка все это выслушала, не перебивая, потом сказала, что ей семьдесят восемь лет и что она, может быть, последний раз в жизни выиграла что-то сама, а не по профсоюзной путевке, и что ехать одна она, разумеется, не может, у нее давление и колено, но если Маша считает, что хроника важнее, то она, бабушка, все понимает и отправит в усадьбу письмо с отказом. Завтра. Сама. Если дойдет до почты по такому гололеду.

На слове «гололед» Маша сдалась. Бабушка знала, на каком слове она сдастся, это было видно по тому, как она сразу встала и пошла ставить чайник.

А в прошлое воскресенье, четырнадцатого, Маша рассказала про поездку Корсакову.

Она вообще-то не собиралась рассказывать специально. Просто так вышло, к слову. Он сидел на кухне после обеда, чинил бабушкину кофемолку, которая третий месяц крутилась только в одну сторону, а Маша мыла посуду, и бабушка на веранде громко обсуждала с Зоей Серафимовной по телефону, сколько брать теплых колготок. Корсаков спросил, куда это собирается Аглая Петровна. Маша сказала. Он отложил отвертку.

– «Медвежий угол»? – переспросил он. – Под Тверью? У Белозерской?

– Вы ее знаете?

– Слышал, – сказал он и снова взял отвертку. Покрутил ее в пальцах, посмотрел на кофемолку так, будто впервые ее увидел. – С двадцатого по первое?

– С двадцатого по первое.

Он кивнул и ничего больше не сказал, только кофемолку чинил потом очень долго, хотя дела там было на пять минут, Маша видела. А уже уходя, в прихожей, натягивая свое темное пальто, сказал, что в следующее воскресенье его не будет. Командировка. Под Тверью, кстати. Может быть, до самого Нового года, он пока не знает.

– Значит, Новый год вы встречаете в командировке? – спросила Маша и тут же пожалела, потому что вопрос прозвучал совсем не так, как она хотела. Слишком быстро и слишком тонко.

– Может быть, – сказал Корсаков. – Работа.

И уехал. А Маша потом полночи лежала, глядя в трещину на потолке, похожую на реку на карте, и сердилась. На него, что он сказал «может быть» и «работа» и даже не сделал вид, что жалеет. И еще больше на себя, потому что, оказывается, совершенно не заметила, как привыкла считать воскресенья. От одного до другого. Как будто это само собой разумелось, что в двенадцать у калитки заурчит мотор, Брут кинется к двери, а бабушка, которая всю неделю ходила в халате, к полудню окажется в жемчуге.

Она ведь ничего про него не знала, если вдуматься. То есть знала, что он пьет черный кофе без сахара, что вешает пальто на крючок, а не на спинку стула, что умеет класть ондулин и печь шаньги, что у его бабушки в Вологде была русская печь, а у деда-плотника золотые руки. Что от него когда-то ушла жена, оставив записку на холодильнике под магнитом в виде клубники. Что полки на Ключевского он поставил на опорах через семьдесят сантиметров, как она сказала, и прислал ей фотографию, без единого слова, просто фотографию полки. Она ее зачем-то сохранила.

А больше ничего. Они так и говорили друг другу «вы». Он звал ее Машей, она его Ильей, и на этом все застряло, как застревает иногда нитка в слишком узком проколе, ни туда, ни сюда. Бабушка на эту тему высказывалась каждую неделю, разными словами, но с одним и тем же смыслом. Маша каждую неделю делала вид, что не понимает.

– Маша, ты меня слышишь? – спросила бабушка.

Маша поняла, что так и стоит на табуретке со шляпной коробкой в руках.

– Слышу.

– Я говорю, вот эту не клади. – Бабушка показала на кофту, которую Маша, слезая, машинально взяла со спинки стула. Кофта была ее собственная, серая, толстая, с кожаными заплатками на локтях. – Ты в ней похожа на завхоза краеведческого музея. Возьми синий кардиган. И белую блузку.

– Ба, я еду работать. С книгами. В библиотеку.

– В библиотеку, где будут писатели и рестораторы, – сказала бабушка. – И телевидение, Зоя говорит. Ты знаешь, что Белозерскую показывают по телевизору? По субботам, в одиннадцать. Она там учит делать соусы и всех называет «мои хорошие».

В этот момент на веранде появился Марик. Появился он, как всегда, сразу и целиком, в облаке холодного воздуха, снега и запаха бензина, с переноской в руке. Переноска была пустая.

– Где он? – спросил Марик. – Я уже десять минут по дому хожу. Зоя Серафимовна звонила два раза, у нее там подушка взбита и печенка отварена.

– На шкафу в мастерской, – сказала Маша. – За третьим томом Брокгауза. Он с утра видел, как ты ставил переноску в прихожей.

Марик застонал.

Эвакуация Фунтика заняла сорок минут и потребовала участия всех трех Верещагиных, банки печеночного паштета и старого бабушкиного боа из перьев, которым Фунтик в молодости любил играть и при виде которого до сих пор терял остатки профессорского достоинства. В переноску он вошел с таким выражением, что Маша почувствовала себя предательницей. Внутри он немедленно лег спиной к дверце и больше на них не смотрел. Марик понес переноску через сугробы к соседскому забору, на вытянутой руке, потому что в ней было девять килограммов презрения. Маша пошла следом, по его следам, попрощаться. Бабушка осталась на крыльце в шали и махала платком, как с перрона.

Зоя Серафимовна ждала у калитки, в валенках, в пуховом платке и в куртке поверх халата. Дома у нее было жарко, как в бане, пахло укропом, грибами и вареной печенкой, а на диване у окна, в лучшем углу, лежала вышитая подушка с лебедями, специально приготовленная для гостя.

– Ну иди, мой хороший, иди, мой рыжий, – заворковала Зоя Серафимовна, наклоняясь над переноской. – Будем с тобой телевизор смотреть, будем рыбку кушать.

Фунтик не шелохнулся.

– Он обижен, – объяснила Маша. – Это пройдет. Дня через три.

– Пройдет, пройдет. У меня все проходит. – Зоя Серафимовна выпрямилась, держась за поясницу, и посмотрела на Машу с тем выражением, с каким смотрела всегда, когда у нее накопилась новость и требовалось решить, с какого конца ее подавать. – Маша. Ты ведь знаешь, кто у этой Белозерской на фестивале будет? В жюри-то?

– Не знаю. Повара какие-то. Писатели.

– Повара, – повторила Зоя Серафимовна. – И критики. – Она помолчала, давая слову повисеть в морозном воздухе. – Я в субботу смотрела передачу ее. Про соусы. А там в конце объявили, что будет зимний фестиваль, и показали, кто приедет. И знаешь, кого показали?

Маша почувствовала, как у нее внутри что-то медленно и холодно опускается, как старый лифт в подъезде.

– Зоя Серафимовна...

– Твоего, – сказала Зоя Серафимовна сочувственно. – Глебушку. В пиджаке таком, клетчатом. Он теперь, оказывается, про еду пишет. Про рестораны. Так прямо и сказали: «известный гастрономический критик». Я еще удивилась. Он же раньше про книжки писал? Ты рассказывала.

– Про книжки, – сказала Маша.

– А теперь вот про еду. – Зоя Серафимовна вздохнула. – Видно, на книжках-то не проживешь. Я бабушке твоей не говорила. Думаю, расстроится, еще ехать раздумает. А тебе сказать надо. Чтоб не как снег на голову.

Марик за спиной у Маши присвистнул.

– Может, другой какой-нибудь Глеб, – сказал он неуверенно.

– Самойлов, – сказала Зоя Серафимовна. – Глеб Самойлов. Так и подписали внизу.

Обратно Маша шла молча, по своим же следам, не глядя под ноги, и провалилась в сугроб выше колена. Марик вытащил ее за руку.

– Маш, – сказал он. – Может, не поедешь?

– Поеду, – сказала Маша.

– Он же...

– Марик. Мы два года как развелись. Я его полтора года не видела. Мне все равно.

Марик посмотрел на нее с сомнением. Он был младше на восемь лет и всю жизнь знал ее лучше, чем она сама себя знала, это было даже обидно. Но спорить не стал. Только на крыльце, отряхивая снег с джинсов, сказал вполголоса, чтобы не услышала бабушка:

– Ты сейчас очки трогаешь.

Маша опустила руку.

Бабушке она ничего не сказала. Ни в четверг, ни в пятницу, когда они в шесть рук утрамбовывали чемоданы, ни в субботу на рассвете, когда Марик довез их до станции на машине своей новой конторы, серой, с эмблемой в виде елки и пропеллера, и сам донес все три чемодана, шляпную коробку и скалку до вагона электрички. Бабушка в электричке сидела у окна, прямая, в черной каракулевой шубке, которую надевала два раза в год, и в той самой шляпке с вуалью, в которой ходила на похороны Воронова. Пассажиры поглядывали на нее так, будто ждали, что сейчас она встанет и начнет читать монолог. Маша сидела напротив и смотрела в окно, на белые поля, на заваленные снегом платформы с покосившимися навесами, на черные ели, и думала о том, что Глеб, наверное, тоже давно знает, что она приедет. Ее фамилия ведь стоит где-нибудь в списке гостей. Верещагина М.А., реставратор. Он не пропустит. Он вообще никогда ничего не пропускал, если это касалось его самого.

В Москве они пересели на Ленинградском вокзале на «Ласточку» до Твери, и бабушка заснула через десять минут, откинув голову на подголовник, и вуаль от ее дыхания тихонько шевелилась. Маша смотрела на нее и думала, что бабушке и правда семьдесят восемь лет. Что у нее действительно давление и колено. Что она ни разу за все эти годы не сказала, как ей было тяжело, когда разбились родители, а потом был Машин развод, а потом Маша полгода не выходила из мастерской, только работала и почти не ела. Бабушка просто пекла пироги. Каждый день. И оставляла на табуретке у двери мастерской, под полотенцем.

«Двенадцать дней, – подумала Маша. – Двенадцать дней я вполне могу потерпеть Глеба. Ради нее».

В Твери их встречали. У выхода с вокзала стоял высокий старик в овчинном тулупе и с табличкой, на которой от руки было написано «Верещагины», а под надписью нарисован медведь. Медведь вышел кривоватый, но в колпаке. Старика звали Прохор Кузьмич. Он молча взял все три чемодана, шляпную коробку и даже потянулся было к скалке, но бабушка не отдала. Повел их к машине, огромному темно-зеленому внедорожнику, заляпанному по самые окна соленой снежной кашей.

Ехали долго. Сначала по трассе, потом по шоссе поуже, потом через какой-то райцентр с одной улицей, белой церковью и магазином «Продукты-хозтовары», в окне которого висела мишура. Потом свернули в лес, и дорога стала узкой, в одну машину, накатанной, белой, а по сторонам встали сосны. Сосны были высокие, рыжие внизу, где кора отслаивалась тонкой чешуей, и темные наверху, и на каждой ветке лежало столько снега, сколько она могла удержать,

ни граммом меньше. Иногда снег срывался с какой-нибудь ветки и сыпался вниз, медленно, как мука сквозь сито, и в воздухе потом долго висела сверкающая пыль.

– Красота какая, – сказала бабушка. – Как в «Снегурочке». Мы ставили в восемьдесят втором. Я играла Весну. Мне было тридцать пять, а режиссер сказал, что Весна должна быть женщиной в расцвете, а не девочкой, и все девочки в труппе со мной год не разговаривали.

– Метель будет, – сказал Прохор Кузьмич, не оборачиваясь. Это было первое, что он произнес за всю дорогу, кроме «здрасьте».

– Когда? – спросила Маша.

– Завтра к ночи. По радио говорили. Да и так видно. – Он кивнул на небо. Небо было ровное, светло-серое, низкое, и Маша никак не могла понять, что по нему видно. – Сосна гудит. Как сосна загудит, через сутки жди.

Бабушка посмотрела на Прохора Кузьмича с живейшим интересом, с каким, должно быть, смотрела когда-то на нового партнера на первой репетиции, и Маша поняла, что к концу поездки бабушка будет знать про него все, включая девичью фамилию его матери.

К концу поездки бабушка узнала, что Прохору Кузьмичу семьдесят один год, что он родился в деревне Медвежье, которая раньше стояла на месте усадьбы, а теперь от нее остались три дома и часовня на горке, что служит он у Белозерской одиннадцатый год, сначала сторожем, потом истопником, а теперь «всем», что жена его, Нина Васильевна, на кухне главная по тесту, а про шеф-повара, молодого, из Москвы, он ничего говорить не будет, потому что не его это дело. Про хозяйку тоже не будет, хозяйка хорошая. А про ее компаньона, Кирилла Андреевича, сказал одно слово, когда бабушка невинно поинтересовалась, часто ли тот бывает в усадьбе.

– Бывает, – сказал Прохор Кузьмич.

И так он это сказал, что даже бабушка не стала спрашивать дальше.

В усадьбу въехали, когда уже смеркалось. Смеркаться в декабре под Тверью начинает в начале четвертого, и к четырем все вокруг стало синим: снег, сосны, небо, даже воздух. Дорога вдруг вышла из леса на открытое место, и Маша увидела озеро, круглое, большое, под снегом, с темной полосой камышей вдоль берега, и на дальнем его берегу, на пригорке, маленькую деревянную часовню с крестом. А на этом берегу, над озером, стояла усадьба.

Главный дом был старый, Маша поняла это сразу, еще из машины. Двухэтажный, бревенчатый, но не избяной, а барский, обшитый тесом, с высоким крыльцом, с мезонином, с резными наличниками, белыми на темном дереве, и со светом во всех окнах. Свет был теплый, желтый, и от него на снег перед домом ложились длинные золотые прямоугольники. Вокруг главного дома, в соснах, стояли еще дома, поменьше и поновее, тоже бревенчатые, с крутыми крышами, на которых лежали толстые снежные одеяла, и в каждом окне тоже горел свет. Из труб шел дым, прямой, как по линейке. Пахло дымом, хвоей и почему-то, хотя этого быть не могло, свежим хлебом.

Над воротами, на перекладине, сидел вырезанный из дерева медведь. Довольно большой и довольно добродушный, с караваем в лапах.

– Боже мой, – сказала бабушка тихо и взяла Машу за руку. Рука у нее в перчатке была маленькая и горячая. – Маша. Ты посмотри.

Маша посмотрела. И вдруг, совершенно неожиданно для себя, подумала, что бабушка была права. Что сюда стоило приехать. Что, может быть, Глеб будет где-нибудь там, за этими окнами, в каком-нибудь жюри, но окна от этого не перестанут быть теплыми, и снег не перестанет быть синим, и часовня на том берегу будет стоять, как стояла, наверное, лет двести. А Глеб уедет. Глеб всегда уезжал.

Прохор Кузьмич открыл перед ними тяжелую дверь, обитую войлоком, и они вошли.

Холл был огромный, в два этажа, с деревянной лестницей, которая поднималась к галерее, и с камином из дикого камня, в котором горели целые поленья. Над камином висели пучки

зверобоя, мяты, чабреца, гирлянды из сушеных яблок и красного перца. Вдоль стен стояли открытые стеллажи, и на них, рядами, банки, бутыли, кувшины с чем-то янтарным, темно-красным, золотым, с самодельными этикетками. Посредине на круглом столе пыхтел медный самовар, начищенный так, что в нем отражалась вся комната. Елка в углу была живая, до потолка, и украшена не шарами, а пряниками, сушеными апельсинами и маленькими холщовыми мешочками, перевязанными красной ниткой. Пахло так, что у Маши закружилась голова. Хвоей, корицей, гвоздикой, печеными яблоками, воском и горячим вином.

У камина, спиной к двери, стояли двое и смотрели на огонь. Мужчина в верблюжьем пальто нараспашку и девушка в белой меховой шапке, маленькая, тонкая, с длинными светлыми волосами поверх белого пуховика. Девушка что-то говорила, смеясь, и держала мужчину под руку обеими руками, как держат что-то очень ценное и хрупкое.

Мужчина обернулся на звук двери.

Маша узнала его раньше, чем увидела лицо. По тому, как он поворачивал голову. Медленно, с легким наклоном, как будто давал окружающим время приготовиться к тому, что он сейчас на них посмотрит. Он так поворачивался всегда, сколько она его знала, и на конференциях, и на банкетах, и дома, когда она спрашивала из кухни, будет ли он ужинать.

Глеб был все такой же. Чуть пополнел, пожалуй. Отпустил короткую, тщательно подстриженную бородку с проседью, которая ему, надо признать, шла. На нем был тот самый клетчатый пиджак, про который говорила Зоя Серафимовна, под ним черная водолазка, и очки в тонкой золотой оправе, новые, дорогие. Он увидел бабушку в каракуле и вуали, Прохора Кузьмича с чемоданами, скалку в полотенце. И потом увидел Машу. И на лице у него появилось то самое выражение, которое она тоже прекрасно помнила. Выражение человека, который нашел в салате что-то неожиданное и теперь решает, будет ли это забавно или неприятно.

– Маша, – сказал Глеб. – Ну надо же. Какими судьбами?

Маша стояла в дверях в старом пуховике, в вязаной шапке, съехавшей набок, с бабушкиной скалкой под мышкой, и чувствовала, как очки медленно сползают ей на кончик носа. Поправить их было нечем: в одной руке скалка, в другой бабушкин локоть.

«Двенадцать дней», – подумала она.

Глава 2

– Здравствуй, Глеб, – сказала Маша.

Голос получился нормальный. Даже, пожалуй, слишком нормальный, ровный, как у диктора на вокзале, объявляющего, что электричка опаздывает на сорок минут. Маша сама себе удивилась.

Глеб пересек холл в четыре шага, на ходу освобождая руку от белой спутницы, и наклонился к Маше, чтобы поцеловать ее в щеку. В щеку он, правда, не попал, потому что Маша в последний момент чуть повернула голову, и поцелуй пришелся куда-то в воздух возле уха, в край вязаной шапки. От Глеба пахло тем же одеколоном, что и два года назад, сладковатым, с древесной нотой, и Маша с досадой поняла, что помнит этот запах лучше, чем хотела бы.

– Аглая Петровна, – Глеб повернулся к бабушке и склонил голову с видом человека, который делает старухе одолжение, но делает его красиво. – Вы, как всегда, неотразимы.

– Глеб, – сказала бабушка, поднимая вуаль. Она посмотрела на него снизу вверх, долго, внимательно, тем взглядом, которым когда-то, наверное, смотрела из-за кулис на плохо выучившего роль партнера. – Вы поправились.

Глеб на секунду растерялся. Потом засмеялся, громко, раскатисто, как смеялся всегда, когда ему было неприятно.

– Здешняя кухня, Аглая Петровна. Я тут со вчерашнего дня, а уже чувствую себя гусем, которого готовят к Рождеству. – Он махнул рукой в сторону камина. – Вика! Иди сюда. Познакомься. Это Маша. Я тебе рассказывал. Маша реставрирует книжки.

Он так и сказал: «книжки». Маша это отметила, как отмечала все.

Девушка в белой шапке подошла, улыбаясь. Вблизи она оказалась совсем молоденькой, лет двадцати трех, не больше, с круглым кукольным лицом, с ресницами, которые явно стоили дороже Машиного пуховика, и с телефоном в руке, который она, кажется, не выпускала никогда. Улыбка у нее была искренняя и немножко растерянная.

– Вика Лапина, – сказала она. – Я веду блог про еду. «Вика ест». Может, видели?

– Не видела, – честно сказала Маша. – Извините.

– Ничего, – сказала Вика, нисколько не обидевшись. – Его в основном младше тридцати смотрят.

Бабушка издала тихий звук, похожий на то, как закипает чайник. Маша наступила ей на ногу.

– Вика моя помощница, – сказал Глеб, обнимая девушку за плечи. – И, можно сказать, муза. Мы вместе ведем колонку. Я пишу, Вика снимает. Новое время, Маша, новые форматы. Слово без картинки сейчас никто не читает. Но ты, наверное, не следишь. – Он посмотрел на скалку у нее под мышкой и улыбнулся. – Ты-то здесь в каком качестве? Только не говори, что тоже в жюри.

– Я здесь в качестве внучки, – сказала Маша. – Бабушка выиграла конкурс.

– Ах, конкурс! – Глеб поднял брови. – «Рецепт с историей»? Читал, читал. Мне Соня присылала финалистов, просила оценить литературную сторону. Так это вы, Аглая Петровна, с пирогом? Про театр? Очень трогательно. Немного сентиментально, на мой вкус, но публика такое любит.

– Публика, Глеб, всегда права, – сказала бабушка. – Даже когда она идиот. Это не я сказала, это Станиславский.

Маша была почти уверена, что Станиславский этого не говорил.

– А еще, – продолжала она, торопясь, пока бабушка не процитировала Станиславского еще раз, – меня попросили посмотреть здешнюю библиотеку. Старые кулинарные книги.

– Ну да, – сказал Глеб снисходительно. – Кто-то же должен подклеивать странички. – Он огляделся, будто ища кого-то за ее спиной, и Маша прекрасно поняла, кого. – Ты одна? С бабушкой, как всегда?

Вот этого она ждала. Она знала, что он спросит. Глеб всегда спрашивал именно то, на что было больнее всего отвечать, и не со зла, а как-то естественно, как вода всегда находит самую низкую точку. И Маша знала заранее, что ответит «да, с бабушкой» и что после этого он улыбнется, и Вика посмотрит на нее с сочувствием, и это будет хуже всего.

Она открыла рот, чтобы сказать «да».

И в эту секунду за ее спиной открылась дверь.

В холл ворвался холод, клуб морозного пара и снег. А вместе со снегом что-то большое, серое с черным, тяжелое и стремительное, пронеслось мимо Маши, мимо Глеба, едва не сбив с ног Вику, и с размаху ткнулось мордой в бабушкину руку в перчатке. Бабушка ахнула. Глеб отпрыгнул на шаг, так что очки у него съехали.

– Брут! – сказала бабушка совершенно другим голосом, тонким, растроганным. – Брут, мальчик мой, откуда же ты!

Брут не ответил, потому что был занят. Он прижимался к бабушкиной шубе всем боком, повизгивая и стуча хвостом по стоящему рядом чемодану, а потом сел у ее ног и посмотрел на Глеба. Просто посмотрел, без всякого рычания, своими желтыми спокойными глазами. Глеб сделал еще шаг назад.

Маша обернулась.

В дверях стоял Корсаков. В темном пальто, на плечах снег, в руке дорожная сумка, на голове ничего, и в коротких волосах тоже снег, который начинал таять в тепле и блестеть. Он прикрыл за собой дверь, неторопливо, придержав, чтобы не хлопнула. Поставил сумку у порога. Посмотрел на холл, на камин, на елку с пряниками, на Глеба с Викой. Потом на Машу. И Маша увидела, как у него чуть-чуть, почти незаметно, дрогнул угол рта.

Он подошел к ней. Не торопясь, через весь холл, по деревянному полу, оставляя мокрые следы. Взял у нее из-под мышки скалку, так естественно, будто это была его скалка и он просто забирал ее обратно. Другую руку на секунду положил ей на плечо. Легко, коротко, и сразу убрал.

– Разминулись, – сказал он. – Я же говорил, встречу вас в Твери. Вы почему не дождались?

Ничего он такого не говорил. Маша смотрела на него и не могла вымолвить ни слова. Плечо в том месте, где лежала его рука, вдруг стало горячим под пуховиком, как будто туда приложили грелку.

– Илья Романович, – сказала бабушка за ее спиной таким голосом, каким, вероятно, говорила Кручинина, узнав сына. – Какая неожиданность. Какая приятная неожиданность.

– Добрый вечер, Аглая Петровна. – Корсаков повернулся к Глебу и протянул руку. – Корсаков.

Глеб пожал руку. Маша видела, как он пожимает: быстро и вяло, как всегда пожимал руки мужчинам, которых считал ниже себя по интеллекту, то есть почти всем. И как через секунду у него на лице что-то изменилось, потому что рука Корсакова оказалась совсем не такой, какой ее ожидали.

– Самойлов, – сказал Глеб. – Глеб Самойлов. Простите, а вы...

– Я с Машей, – сказал Корсаков.

И больше ничего не добавил. Отпустил руку Глеба, повернулся, поднял два бабушкиных чемодана и шляпную коробку так, будто они ничего не весили, и спросил у Прохора Кузьмича, который все это время стоял у двери, наблюдая сцену с бесстрастностью старого сторожа, куда нести.

Вика смотрела на Корсакова так, как, наверное, смотрела на десерт, который ей нельзя. Глеб поправил очки. Бабушка, проходя мимо Маши к лестнице следом за Прохором Кузьмичом, наклонилась к ее уху и произнесла одними губами, но очень отчетливо:

– Занавес.

Потом выяснилось, что бабушку с Машей поселили не в гостевом доме, а в главном, на втором этаже, в двух смежных комнатах с окнами на озеро. Это было сделано из-за бабушкиного колена, о котором она, разумеется, написала в анкете, и из-за библиотеки, которая помещалась тут же, на первом этаже, в бывшей барской гостиной. Комнаты были маленькие, с низкими потолками, с бревенчатыми стенами, потемневшими от времени до цвета гречишного меда. В каждой стояла узкая кровать с горой подушек под кружевной накидкой, комод, стул и печь-голландка, облицованная белыми изразцами с синими корабликами. Печи были натоплены, и от изразцов шло ровное, сухое, сонное тепло. На комоде у Маши стояла глиняная кружка с еловой веткой и лежала открытка, на которой тем же решительным почерком с наклоном влево было написано: «Добро пожаловать домой».

Бабушка, едва войдя в свою комнату, села на кровать, сняла шляпку и сказала, что ей надо полежать десять минут, а потом она будет готова к ужину. Маша знала, что никакие десять минут бабушке не нужны, что ей просто хочется остаться одной и прожить заново, в лицах, сцену в холле, со всеми паузами. Она не стала спорить.

Корсакова она нашла на крыльце.

Он стоял у перил, без шапки, в расстегнутом пальто, и смотрел на озеро. Было уже совсем темно, и озеро угадывалось только по тому, что над ним было светлее, чем над лесом. На том берегу на горке чернела часовня. Брут сидел у его ноги и тоже смотрел на озеро, будто они вдвоем что-то сторожили. Снег перестал. Было тихо, морозно, и сосны вокруг усадьбы действительно гудели. Маша только сейчас это услышала. Ровный, низкий, еле различимый звук, где-то на самом краю слуха, словно далеко-далеко шел поезд и никак не мог пройти.

Маша встала рядом. Взялась руками за перила, холодные, в инее.

– Вы знали, – сказала она.

– Знал.

– Про Глеба.

– Про Глеба. – Он не повернул головы. – Список гостей у меня с ноября. Самойлов Г.В., критик, плюс один.

– И ничего не сказали.

– Вы бы сказали, чтобы я не ехал.

– Я бы так не сказала.

– Сказали бы, – спокойно сказал Корсаков. – Что вы сами справитесь. Что это ваше дело. Что вам все равно. – Он помолчал. – А я бы все равно поехал. Так что я решил, что проще не говорить.

Маша смотрела на него сбоку. На его профиль, тяжелый подбородок, на снег, тающий в волосах.

– А командировка? – спросила она. – Тоже придумали?

– Нет. Командировка настоящая. – Он наконец повернулся к ней. – Наш дом покупает усадьбу. Вместе с библиотекой. Шеф хочет сделать здесь загородную площадку, выездные торги, резиденцию для переплетчиков, что-то такое, я в этом не очень понимаю. Белозерская продает, ей нужны деньги. Сделку собирались подписать после праздников. Мне нужно посмотреть, как здесь все устроено. Охрана, сигнализация, хранение, кто куда ходит. Это правда.

– А то, что я здесь буду, это совпадение.

– Нет, – сказал он. – Это не совпадение.

Он сказал это так просто, что Маша не нашлась, что ответить. Стояла и смотрела на часовню на том берегу. Было холодно, и уши у нее под шапкой начали мерзнуть, но уходить не хотелось.

– Вы сказали, что встречали меня в Твери, – сказала она наконец. – Это неправда.

– Неправда.

– Зачем?

Корсаков пожал плечами.

– Он спросил, одна ли вы, – сказал он. – Я слышал из-за двери. Мне показалось, что это неправильный вопрос.

Он натянул перчатки, щелкнул пальцами, и Брут поднялся.

– Меня поселили в Можжевеловом, – сказал Корсаков. – Это вон тот дом, крайний, у сосен. Если что, первая дверь. Брута, к сожалению, в главный дом не пускают, только в холл, тут кухня, санитарные правила. Он будет со мной. – Он помолчал, глядя куда-то в сторону, на сосны. – Ужин в семь. Я зайду за Аглаей Петровной.

– За Аглаей Петровной, – повторила Маша.

– За вами тоже, – сказал Корсаков и ушел по расчищенной дорожке между сугробами к Можжевеловому дому, и Брут, оглядываясь на Машу, побежал за ним.

В семь он действительно зашел. Постучал в бабушкину дверь, и бабушка вышла к нему в темно-синем бархатном платье с кружевным воротником, в жемчуге, с подведенными глазами, и подала ему руку так, как подают руку партнеру перед выходом на поклон. Маша вышла следом в синем кардигане и белой блузке, как было велено, и с косой, которую она переплетала три раза и все равно осталась недовольна. Черепаховую заколку она в последний момент не взяла. Подумала и не взяла.

Корсаков был в новом свитере. Темно-сером, плотном, с высоким воротом. Маша сразу это заметила и почему-то вспомнила, как в октябре в камине у Воронова горел его прежний, серый, с вытянутыми локтями, и как пахло паленой шерстью. Новый сидел на нем лучше. Но старый ей, пожалуй, нравился больше.

Трапезная помещалась в правом крыле главного дома и раньше, по словам Прохора Кузьмича, была людской. Теперь от людской остались только низкий потолок с балками, черными от времени, и огромная русская печь в углу, беленая, с лежанкой, на которой кто-то оставил вязаного зайца. Посреди стоял длинный дубовый стол, накрытый льняной скатертью, и на нем в медных подсвечниках горели свечи, настоящие, восковые, медовые, и от них по комнате шел теплый, чуть сладкий запах. Окна выходили на озеро, и в черных стеклах отражались свечи, так что казалось, будто над озером висит еще один стол, призрачный, со своими огоньками.

Большинство гостей уже собрались. Маша остановилась в дверях, привыкая к свету, к голосам и к этому ощущению, которое она так не любила, когда входишь в комнату, полную незнакомых людей, и все на секунду поворачиваются.

И тут из-за стола поднялась женщина и пошла прямо к бабушке, раскрыв руки.

София Белозерская оказалась совсем не такой, какой Маша представляла ее по телевизионным рассказам Зои Серафимовны. Высокая, почти с Машу ростом, крупная, широкоплечая, с темными волосами, в которых шли две широкие седые пряди, от висков назад, и которые она не красила, а закручивала узлом на затылке и закалывала простым деревянным гребнем. Ей было, наверное, за пятьдесят. На ней была мужская белая рубашка с закатанными рукавами, длинная черная юбка и никаких украшений, кроме тяжелых серебряных колец на обеих руках, по три на каждой. Руки были рабочие. Маша это сразу увидела. Крупные, с коротко остриженными ногтями, с мелкими белыми шрамиками от ножа на пальцах и со старым коричневатым следом ожога на тыльной стороне левой ладони.

– Аглая Петровна, – сказала Белозерская низким, чуть хрипловатым голосом и обняла бабушку, осторожно, как обнимают хрупкое. – Наконец-то. Я ведь над вашим письмом плакала.

Честное слово. Сидела у себя на кухне в два часа ночи, все уже ушли, а я сижу и реву. Про коробку из-под шляпы. И про Кузьмича.

– Это потому, что вы поздно ложитесь, Софья Николаевна, – сказала бабушка, сразу растаяв. – В два часа ночи все плачут.

– Соня, – сказала Белозерская. – Просто Соня. Меня Софьей Николаевной только налоговая называет. – Она повернулась к Маше и посмотрела на нее внимательными, темными, чуть усталыми глазами. – А вы Маша. Спасибо, что приехали. Я знаю, что вас бабушка уговорила. Ничего. Я завтра покажу вам библиотеку, и вы перестанете жалеть.

– Я не жалею, – сказала Маша.

– Пожалеете еще, – сказала Белозерская и вдруг улыбнулась, широко и молодо. – У меня там четыреста книг, и половина в таком состоянии, что вы будете ругаться. Мне сказали, что реставраторы, когда видят плохую книгу, ругаются. Илья Романович. – Она протянула руку Корсакову, и он пожал ее, и Маша заметила, что пожали они друг другу руки как люди, которые уже встречались и знают, что встретятся еще не раз. – Вы устроились? Прохор вас не заморозил?

– Все хорошо, Софья Николаевна.

– Соня, – повторила она. – Я же просила.

– Соня у нас всех просит, – раздался голос у нее за спиной. – А потом обижается, если кто-нибудь правда начнет называть ее Соней. Правда, Сонечка?

К ним шел мужчина. Он был моложе Белозерской, лет сорока восьми, с бронзовым загаром, какой в декабре в средней полосе можно получить только в одном месте, на склонах где-нибудь в Альпах или у моря. Белые зубы, гладко зачесанные назад волосы с благородной сединой на висках, тонкий кашемировый свитер цвета топленого молока и часы на запястье, массивные, тяжелые, такие, на которые сразу смотришь, хотя совсем не собираешься. Красивый мужчина. Глеб бы сказал «породистый». Маша подумала, что в нем было что-то от хорошо откормленного кота, который отлично знает, что ему все можно.

– Кирилл Гордеев, – сказал он, наклоняясь к бабушкиной руке. Поцеловал ее, бабушка позволила. – Компаньон и вечный оппонент. Соня у нас душа, а я, так сказать, кошелек. Без души кошелек пустой, а без кошелька душа быстро разоряется. Правильно я говорю, Сонечка?

– Кирилл, – сказала Белозерская ровно.

– Молчу, молчу. – Он повернулся к Корсакову и улыбнулся еще шире. – А, служба безопасности покупателя. Илья Романович, да? Мы с вами по телефону. Ну как, осмотрелись? Смотрите, смотрите, у нас тут все крепко, бревна вековые. Только вот проводка, кажется, при Хрущеве. Не пугайтесь, если свет моргнет.

Маша увидела, как Белозерская чуть-чуть сжала губы при слове «покупателя». Совсем чуть-чуть. Если не смотреть, не заметишь.

За стол сели в половине восьмого. Маша оказалась между Корсаковым и бабушкой, а напротив нее, через стол и свечи, Глеб с Викой. Это, разумеется, было сделано не нарочно, просто так вышло, но Маше от этого было не легче. Глеб смотрел то на нее, то на Корсакова, то опять на нее, и вид у него был, как у человека, который решает задачку и никак не может сойтись с ответом.

Остальных Маша разглядывала постепенно, по одному, как разглядывала бы незнакомую книгу, сначала переплет, потом корешок, потом обрез.

На почетном месте, справа от хозяйки, сидел огромный краснолицый человек лет шестидесяти, с короткой седой щеткой на голове и с руками, похожими на лопаты. Руки лежали на скатерти и, казалось, не знали, что с собой делать. Звали его Петр Семенович Ковалев, и он, как он сам сообщил бабушке, едва сев, сорок лет валил лес, а теперь вот хочет строить. Говорил он громко, рокочуще, и после каждой фразы смеялся, как будто сказал что-то смешное. Рядом с ним сидела его жена Алиса, лет на пятнадцать моложе, худая, коротко стриженная,

с тонкими губами и цепким, быстрым взглядом, который ни на ком не задерживался дольше секунды, но, похоже, успевал увидеть все. Ела Алиса мало, а пила только воду.

Слева от Кирилла сидела его невеста. Ее звали Инга Троицкая, и она отвечала в ресторанной сети Белозерской за то, что Глеб назвал бы «коммуникациями». Ей было чуть за тридцать. Гладкое каре, черное платье с открытыми плечами, длинные серьги, идеальный маникюр цвета спелой вишни и идеальное лицо, на котором ничего не двигалось, когда она улыбалась, кроме губ. Время от времени она клала руку Кириллу на рукав, и он не обращал на это внимания.

А еще за столом были двое молодых людей, повар и ресторанный критик из Петербурга, которых Маша сразу перепутала и потом так и не смогла различить, пожилая дама из какого-то кулинарного журнала с лорнетом на цепочке, которую бабушка немедленно опознала как бывшую суфлершу Малого театра, и молчаливый бородатый фотограф, который снимал все подряд и почти не ел.

Подавала девушка лет двадцати четырех, рыжеватая, веснушчатая, в белой блузке и черном переднике, с бейджиком «Анастасия, администратор». Подавала ловко, но как-то неуверенно, и один раз, наливая морс Кириллу, плеснула на скатерть. Кирилл засмеялся, взял ее за локоть и что-то сказал ей негромко. Девушка вспыхнула до корней рыжих волос, а Инга на другом конце стола медленно положила вилку на тарелку. Маша видела это. И видела, что Алиса Ковалева тоже это видела.

Ужин был, как потом сказала бабушка, «скромный, деревенский, для разминки». Уха из судака, прозрачная, золотистая, с дымком, к ней расстегаи с рыбой, горячие, с открытой серединкой, в которую полагалось вливать ложкой уху. Пельмени, крошечные, ручной лепки, в глиняных горшочках, с бульоном и сметаной. Моченая брусника, квашеная капуста с клюквой, соленые рыжики, на которые бабушка посмотрела ревниво и сказала шепотом, что у Зои лучше. А на десерт печеные яблоки с медом и орехами и маленькие слоеные пирожки, которые Белозерская назвала «медвежьими ушками» и про которые сказала, что это рецепт Нины Васильевны, жены Прохора, и что она ей за этот рецепт уже десять лет предлагает деньги, а Нина не продает.

Перед десертом в трапезную вышел повар.

Маша сразу поняла, что это и есть шеф-повар, тот самый, «молодой, из Москвы», про которого Прохор Кузьмич ничего не хотел говорить. Высокий, худой, жилистый, с бритой головой и острым лицом, в белой куртке, застегнутой на все пуговицы. Рукава куртки были закатаны до локтя, и на предплечьях у него синели татуировки, тонкие, аккуратные, как ботанические рисунки в старинном травнике: на левой руке веточка розмарина, на правой тимьян. Ему было лет тридцать, может, чуть больше. Он встал в конце стола, заложив руки за спину, и коротко, без улыбки, сказал, что завтра, в день зимнего солнцестояния, ужин начнется в пять, а главное блюдо подадут в восемнадцать ноль три по московскому времени, в ту самую минуту, когда солнце повернет на лето. Утка, томленная в печи, под соусом из черного трюфеля, по рецепту из книги тысяча восемьсот шестьдесят первого года, который он немного изменил. Блюдо называется «Рецепт зимнего солнцестояния».

Говорил он тихо, ровно, и смотрел при этом только на Белозерскую. Как будто остальных за столом не было.

– Денис Рогов, – шепнула Белозерская бабушке. – Мой шеф. Гений. Тяжелый человек, как все гении.

– Денис у нас гений, – громко сказал Кирилл, отодвигая тарелку. – Только солит много. Правда, Денис?

Повар перевел на него взгляд. Медленно.

– Вам, Кирилл Андреевич, без соли, – сказал он. – Как всегда.

– Как всегда, – согласился Кирилл. – В моем соуснике. И не забудь, двадцать седьмого инспекторы. Если я еще раз увижу у тебя в холодильнике то, что увидел в среду...

– Кирилл, – сказала Белозерская.

Она не повысила голоса. Но Кирилл замолчал. А повар коротко поклонился, ни на кого не глядя, и ушел на кухню. Дверь за ним качнулась туда-сюда и замерла.

– Простите, – сказала Белозерская бабушке. Щеки у нее слегка порозовели. – У нас перед праздниками всегда так. Кирилл два года назад перенес операцию на сердце, ему поставили стент, и врачи запретили соль. Совсем. Он принимает таблетки, ему нельзя ничего острого, ничего соленого, а он все равно ест, как хочет, и злится на всех вокруг, когда за ним следят. А соусник у него свой, отдельный, это еще с девяносто восьмого года, с нашего первого кафе на Сретенке. Он тогда был официантом, а я поваром. – Она помолчала. – Суеверие.

– Не суеверие, а гигиена, – сказал Кирилл через стол, хотя никто не спрашивал его мнения. – Я не макаю в общее. И не люблю, когда макают в мое. В любом смысле, Сонечка. В любом.

Он рассмеялся. Петр Семенович Ковалев рассмеялся тоже, раскатисто, громко, и было непонятно, понял он что-нибудь или просто смеялся за компанию. Алиса Ковалева смотрела на Кирилла не мигая. Инга смотрела в свою тарелку.

А Корсаков рядом с Машей не смеялся. Он пил морс и смотрел на кухонную дверь, которая только что перестала качаться.

Потом были тосты. Глеб встал третьим, с бокалом, поправил очки и сказал длинную, красивую речь о том, что литература и кухня – две формы памяти, что рецепт есть тот же текст, передаваемый из поколения в поколение, и что вкус, в сущности, такая же метафора, как и любая другая. Говорил он хорошо. Глеб всегда говорил хорошо, за это его и звали на все конференции. Маша слушала и вспоминала, как когда-то, давно, сидела в зале и смотрела на него снизу вверх, как Вика сейчас смотрела, подперев подбородок ладонью, и думала, что вот это и есть настоящий ум, настоящая жизнь, а у нее только клейстер и старые нитки. Вспоминала спокойно, как вспоминают, например, детскую ветрянку. Было, прошло, остались два шрамика на лбу, если откинуть волосы.

– Прекрасный тост, – сказал Кирилл, когда Глеб сел. – Глеб Валентинович у нас вообще прекрасно говорит. Особенно когда обещает. – Он поднял бокал и посмотрел на Глеба поверх него. – За обещания, Глеб Валентинович. И за то, чтобы их выполняли.

Глеб улыбнулся. Улыбка вышла как-то криво.

К концу ужина бабушка успела очаровать Петра Семеновича окончательно и выяснить, что он играет в преферанс. Сочинку, по маленькой, и очень этим гордится, потому что в Сыктывкаре, где он начинал, его никто не мог обыграть сорок лет.

– Какое совпадение, – сказала бабушка невинно. – Я тоже немножко играю. Нас в театре научил один осветитель. Он был из Воркуты.

Маша, которая знала, как играет бабушка, чуть не подавилась брусникой. Корсаков рядом с ней кашлянул в салфетку.

Спать Маша легла в одиннадцатом часу. Бабушка за стенкой еще долго ходила, шуршала, что-то напевала, потом затихла. Печка тикала, остывая. Маша лежала под горой подушек и не могла уснуть, слишком много было за день лиц, голосов, запахов. Встала, подошла к окну, чтобы задернуть занавеску.

Окно ее выходило не на озеро, а на задний двор, туда, где за главным домом стояла оранжерея. Маша ее еще не видела, только слышала от Белозерской, что там зимой растут лимоны, лавр и всякие травы для кухни. Оранжерея была стеклянная, на кованом каркасе, похожая на большой фонарь, и в ней горел свет. И в этом освещенном стеклянном фонаре стояли двое.

Маша узнала Глеба по клетчатому пиджаку. Второй был в светлом свитере, и через секунду она поняла, что это Кирилл. Слышно ничего не было, только видно. Глеб размахивал руками. Кирилл стоял спокойно, засунув руки в карманы, и что-то говорил, коротко, как

будто ронял слова. Потом вынул из кармана какую-то бумагу, сложенную вчетверо, и бросил ее Глебу в грудь. Бумага упала на пол, между лимонными кадками. Глеб нагнулся за ней. А Кирилл повернулся и вышел из оранжереи, и дверь за ним, наверное, хлопнула, потому что стекла дрогнули и с крыши оранжереи сполз пласт снега.

Глеб остался стоять. С бумагой в руке, сгорбившись, среди лимонов.

Маша задернула занавеску. Постояла, держась за нее рукой. Потом легла и долго слушала, как гудят сосны. Звук стал, кажется, сильнее, чем вечером. Ровный, низкий, бесконечный, будто где-то далеко шел и шел поезд, и никак не мог пройти.

Глава 3

Утро двадцать первого декабря началось с сырников.

Маша проснулась в восьмом часу, в полной темноте, и сначала не поняла, где находится. Пахло печкой, деревом и чем-то жареным, сладким, ванильным, и этот запах просачивался в комнату снизу, сквозь половицы, как вода сквозь песок. Потом за стенкой бабушка сказала кому-то: «Голубушка, я уже встала, я уже почти одета», и Маша вспомнила все разом. Усадьба. Озеро. Глеб с бумагой среди лимонов. И Корсаков на крыльце, говорящий «это не совпадение».

Она полежала еще минуту, глядя в темный потолок, и обнаружила, что улыбается. Это было глупо. Она перестала улыбаться и пошла умываться.

Сырники подавали в трапезной, на большом блюде, горкой, румяные, пухлые, с хрусткой корочкой, и к ним сметану, такую густую, что ложка в ней стояла, и малиновое варенье в глиняной миске. Подавала их не вчерашняя рыжая Анастасия, а пожилая полная женщина в белом платке и в фартуке с вышитыми медведями, с круглым румяным лицом и с руками в муке до локтей. Это была Нина Васильевна, жена Прохора Кузьмича, главная по тесту. Бабушку она назвала «Аглаюшкой» на второй минуте знакомства, а к концу завтрака они уже договорились, что после обеда Нина Васильевна покажет, как лепить «медвежьи ушки», а бабушка в обмен покажет свой пирог.

– Только с антоновкой у нас тут плохо, – вздохнула Нина Васильевна. – Своя-то вся кончилась, а магазинная – разве ж это антоновка?

– Я привезла, – сказала бабушка. – Восемь штук. В чемодане. Завернула каждую в газету.

Маша, которая сама помогала паковать этот чемодан, ничего про антоновку не знала. Видимо, бабушка доложила ее ночью, когда все спали.

Гостей за завтраком было немного. Глеб с Викой еще спали, Кирилла с Ингой тоже не было видно. Ковалевы сидели в углу, у печи, и Петр Семенович ел сырники один за другим, макая каждый целиком в сметану, а Алиса пила черный чай и смотрела в телефон. Корсакова не было тоже. Маша посмотрела на дверь раз, потом другой, потом заставила себя не смотреть.

– Он с шести утра ходит, – сказала Нина Васильевна, перехватив ее взгляд, хотя Маша ни о чем не спрашивала. – Ваш-то. С Прохором вокруг всей усадьбы обошел, все замки подергал, в котельную слазил, на чердак. И собака с ним. Прохор говорит, толковый. Прохор так ни про кого не говорит.

Маша почувствовала, что краснеет, и уткнулась в сырник.

В десять за ней пришла Белозерская. Пришла в той же белой мужской рубашке, только поверх нее теперь был накинут толстый вязаный жилет, а в руке связка ключей, старых, длинных, на железном кольце.

– Пойдемте, – сказала она. – Покажу вам мое богатство.

Библиотека помещалась в левом крыле, в бывшей барской гостиной, и Маша, войдя, на секунду остановилась на пороге. Она ждала чего-то другого. Темного, тяжелого, с кожаными креслами и зелеными лампами, как у Воронова. А здесь было светло. Три окна выходили в сад, на заснеженные яблони, и сквозь стекла падал ровный, белый, снеговой свет, который бывает только зимой и только в деревне. Стеллажи были березовые, светлые, до самого потолка, с маленькой лесенкой на колесиках. Посреди комнаты стоял круглый стол под льняной скатертью, на нем лампа с абажуром из пожелтевшей вощеной бумаги и ваза с еловыми лапами. В углу печь, круглая, высокая, облицованная белым кафелем с тонкими синими цветочками. От печи шло тепло, но не сухое, не печное, а какое-то мягкое, правильное, и Маша сразу подумала, что тот, кто здесь топит, знает, что делает. В комнате было градусов восемнадцать и влажно ровно столько, сколько нужно бумаге.

– Прохор топит, – сказала Белозерская, будто услышав ее мысли. – Я ему один раз объяснила, что книгам нельзя жарко, а нельзя и холодно, и он с тех пор ходит сюда с градусником. У него и гигрометр есть, я ему подарила. Он им гордится больше, чем медалью за Чернобыль.

Она прошла к столу и положила на него ключи.

– Здесь четыреста двенадцать книг, – сказала она. – Почти все поваренные, хозяйственные, лечебники, травники. Кое-что досталось от прежних хозяев. Когда я купила усадьбу, в двенадцатом году, тут все было разорено, в главном доме был сельсовет, потом склад, потом вообще ничего. А на чердаке, под стрехой, Прохор нашел сундук. Он пролежал там, наверное, лет сто. В нем были книги Медведевых, тех, кому усадьба принадлежала до революции. Сорок шесть штук. Мыши их, конечно, погрызли. Остальное я собирала сама. По букинистам, по аукционам, у старушек. Двенадцать лет.

Она говорила, а Маша уже не слушала, потому что подошла к ближайшему стеллажу и смотрела на корешки.

Левшин. «Словарь поваренный, приспешничий, кандиторский и дистиллаторский», конец восемнадцатого века, шесть частей, кожаные корешки, потертые до белесости, с остатками золотого тиснения. «Русская поварня», тоненькая, в бумажной обложке, заботливо вложенная в картонный футляр. Радецкий, «Альманах гастрономов», четыре тома, роскошные, с литографиями. Авдеева. Какие-то «Карманные книжки для сельских хозяек», «Опытные кухарки», «Лечебники домашние». Корешок к корешку, плотно, тесно, кое-где слишком тесно, и Маша машинально отметила про себя, что вот этот ряд надо будет немедленно разредить, иначе переплеты деформируются.

– Это прекрасно, – сказала она, не оборачиваясь. – Это просто прекрасно. Вы знаете, что у вас тут Левшин полный? Его полного почти нигде нет.

– Знаю, – сказала Белозерская, и в голосе у нее прозвучала гордость. – Я за него отдала машину. Старую, правда. – Она подошла к Маше и встала рядом. – Но я вас позвала не из-за Левшина. Левшин в порядке, его реставрировали в Ленинке до меня. Я вас позвала вот из-за этого.

Она сняла с полки, с отдельной, нижней, где книги стояли не корешками наружу, а лежали плашмя, толстый том в коричневом переплете. Переплет был самодельный, домашний, грубоватый, из темной телячьей кожи, протертой на углах до картона. Корешок держался на нитках. Белозерская положила книгу на стол, осторожно, обеими руками, и отступила.

Маша надела перчатки. Две пары, нитриловые и нитяные поверх, как учил Семен Ильич. Открыла.

Молоховец. «Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве». Санкт-Петербург, тысяча восемьсот шестьдесят первый год. Первое издание.

Но не просто Молоховец. Маша это поняла с первого же разворота. Книгу кто-то когда-то расшил и переплел заново, вплетя между каждыми двумя листами печатного текста чистый лист плотной писчей бумаги. И на этих чистых листах, на всех, сколько Маша успела пролистнуть, были записи. От руки, чернилами, когда-то черными, а теперь выцветшими до рыжевато-коричневого, мелким, убористым, аккуратным почерком с наклоном вправо. Рецепты. Заметки на полях печатных страниц, исправления, крестики, восклицательные знаки. «Сахару класть вдвое менее, у нас и так сладко». «Не делать, гадость». «Варвара говорит, лучше на сыворотке». Даты. Имена.

– Агриппина Медведева, – тихо сказала Белозерская за ее плечом. – Хозяйка усадьбы. Она вела эту книгу с шестьдесят второго года, когда ее купила, и до девяносто четвертого, до смерти. Тридцать два года. Тут вся ее кухня, все ее гости, все ее дети. Видите, вот тут: «На крестины Петеньки, 1866». А вот тут: «Петенька не ест, капризничает». А вот тут, через

двадцать лет: «Петр Андреевич женился, на свадьбу пирог такой-то». – Она помолчала. – Я ее читаю, как роман. По вечерам. Когда никого нет.

Маша листала. Медленно, двумя пальцами, за самые края, и каждый лист шуршал по-своему, печатные тонко и сухо, рукописные плотно и мягко. Бумага была хорошая, тряпичная, и чернила почти не проели ее, только кое-где, там, где Агриппина Медведева давила на перо сильнее, вокруг букв проступили бурые ореолы. Блок был в приличном состоянии. А вот шитье почти умерло, нитки сгнили, тетради держались кое-как, и при каждом развороте Маша чувствовала, как вся книга подается, словно старый, усталый человек, которого слишком долго не отпускали полежать.

– Ее надо расшивать, – сказала она. – Целиком. Иначе через пару лет посыплется.

– Я так и думала, – сказала Белозерская. – Сделаете?

– Не здесь. Здесь у меня нет ни пресса, ни станка. Я могу описать, укрепить, сделать футляр. А шить надо в мастерской, у меня. Это месяц работы, не меньше.

– Пусть месяц, – сказала Белозерская и вдруг взглянула на Машу как-то странно, искоса. – Если, конечно, через месяц она еще будет моей.

Маша не стала спрашивать, что это значит. Она уже знала от Корсакова, что значит.

Перед уходом Белозерская показала ей еще две вещи. Во-первых, толстую тетрадь в клеенчатой обложке, лежавшую на краю стола, с надписью на первой странице: «Журнал библиотеки». В журнал полагалось записывать, кто и когда берет книги, а когда кладет на место.

– Это я завела, – сказала Белозерская. – Гости любят брать почитать, а потом бросают где попало. Один раз Радецкого нашли в бане. В бане, вы представляете? На полке. Он там сох вместе с вениками. Прохор чуть не умер.

А во-вторых, она отогнула край толстого домотканого половика у печки, и под ним в полу оказался люк. Квадратный, дощатый, с железным кольцом, утопленным в паз, и с навесным замком.

– Ледник, – сказала Белозерская. – Тут при Медведевых хранили лед с озера, на все лето, и всякую снедь. А теперь Денис там держит вино. Там всегда плюс шесть, даже в июле. А зимой, если не топить, и ниже. – Она передернула плечами. – Ключ у Дениса и у Прохора. Я туда не хожу. Там холодно, как в склепе, и потолок низкий, я головой бьюсь. Просто чтобы вы знали, что это. А то вы еще наступите и подумаете, что тут привидение.

– А привидения нет? – спросила Маша.

– Есть, наверное, – сказала Белозерская серьезно. – Какая же усадьба без привидения. Только оно, говорят, в оранжерее. – Она опустила половик и выпрямилась. – Ну, работайте. Обед в два. Если что, я на кухне. Я всегда на кухне.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.